

Генрих Манн.
Рассказы из Рокка-де-Фики

День был жаркий, и только от неимения, чем заняться, я понудил моего друга, известного адвоката кавальере Хризостомо Теманиенте совершить прогулку и навестить его брата синьора Альфонсо, который в поте лица своего надзирал за крестьянами на своих кукурузных полях, недалеко от Рокка-де-Фики, арендуемых им у его сиятельства князя Тордизассо. В это горячее, жатвенное время, более, чем одного осла, на котором мы ехали по очереди, любезный арендатор не мог нам предоставить на обратный путь. Всякий раз, как наступала моя очередь садиться на ласковое животное, я с наслаждением любовался, глядя поверх масличных деревьев, росших по склону нашей дороги, видом Кампаньи. Ее сдержанные, коричневато-лиловые тона смягчали слишком резкий свет солнца. В маленьких поперечных лощинах, прилегавших к открытому полю, там и сям, уже наполовину в тени, лежали среди темных кустарников груды камней -- крестьянские дома. В открытом поле приютились их мызы за густой оградой кипарисов. Два ряда этих гордых деревьев вели из Кампаньи в барскую виллу, расположенную внизу лежащего перед нами маленького городка. Эта вилла, о которой уже мне рассказывали, -- отличавшееся театральной роскошью произведение искусства в духе великого Бернини, с ее изумительными видами на парк, с изящно воздвигнутыми руинами, искусно сделанными фонтанами и громадным дворцом, стиля Барокко, принадлежала владельцу коммуны Рокка-де-Фики, господину и собственнику всей горы и прилегавших к ней кампанских земель, на три мили вокруг, -- князю Тордизассо.

Я, собственно говоря, того мнения, что эти большие господа, которых пощадил дующий из современного Рима ветер разорения, являются плохими потребителями, настоящим тормозом для здорового хозяйственного развития страны. Единственно правильное, это -- дробление земельной собственности, как это и утверждает ежедневно в "*Messaggero*", достойные уважения Колаяни. Но аграрно-социалистические воззрения синьора Альфонсо (постоянного читателя названной газеты), по вполне веским основаниям не разделяются его другом кавальере Хризостомо, который состоял доверенным князя. Вступать с ним по этому вопросу в пререкания -- совершенно бесполезно и я был далек от этого, хотя бы уж из-за царящей жары. Прежде всего, уж оставляя в стороне мои политические убеждения, я с удовольствием слушаю рассказы. Я -- довольно полный господин из Милана, который никогда не вылезает из почтового дилижанса, без цели подслушивает за людьми, и не достиг ничего путного в жизни потому, что всегда чужими делами интересовался больше, чем своими. Затем некоторые из крупных князей Кампаньи настолько интересны, что можно мириться с их недостатками. Эти старинные роды, прожившие, может быть, большую часть тех столетий, на которые они отстали от века, неограниченными властителями своих маленьких мирков, имеют иногда свою судьбу, зависящую не столько от общественных и временных условий -- как это у

нас, маленьких людей бывает -- сколько от своих исконных преданий. Как в доме, долгое время обитаемом одним семейством, сохраняется свой особенный, невыводимый запах, так сквозь поступки и переживания длинного поколения этих свободолюбивых земельных баронов, иногда был (?) один и тот же воздух. Стоит произнести это имя, и зазвучит один определенный звук и никогда никакой другой,

[пробел]он был здесь? Звучал он резко или мягко? Мне казалось, он при первом же прикосновении звучал достаточно громко: -- последний из Тордизассо оканчивал свои скромные старческие дни в виду горного гнезда, откуда, насколько я знаю, происходил его род. В следующее за днем моего прибытия утро я побывал над городом, откуда сквозь фиговые деревья, давшие местности ее название, виднелись какие-то жалкие мусорные кучи, обитаемые пастухами, расположенные вокруг большой кучи, бывшей когда-то крепким замком. Через наполовину засыпанный камнями ров, вместо подъемного моста -- две гнилые доски вели в безобразно поросший травой двор и уродливый сырой подвал. Все было бедно и запущено. Я был поражен, что прилегавшая часовня содержалась, напротив, довольно сносно. На стенах сохранилось еще немного штукатурки, над алтарем -- почерневшая икона, а древне-готический портал был совсем не плох. Разве князь заботился об этом? Почему же, в таком случае, только о часовне, а не также и о других развалинах? Насколько мне известно, Рокка-де-Фики не считается за памятник народного прошлого и в том, что он не признается заслуживающим исторического и художественного интереса, я виню всецело клерикализм, который не дает себе труда даже пальцем шевельнуть. [пробел] кавальере Хризостомо вполне соглас[пробел]

Я спросил его:

-- Что, князь -- клерикал?

-- Кто это может знать? -- возразил он к моему удивлению.

-- Конечно, раз даже вы об этом не знаете! Но протягивает ли он руку в муниципальном совете Дон Агостино, или поддерживает правительство, на выборах?

Мой знаменитый друг кавальере Хризостомо не отличается такой дородностью, как я, но обладает очень широкими плечами и слишком короткой, толстой шеей, причиняющей ему, при разговоре, большие затруднения. Всякий раз, желая сказать что-нибудь очень важное -- а большая часть из того, что он говорит, очень важно -- он останавливается, шумно вбирает воздух, после чего выдавливает короткое "э". Так сделал он и теперь, ничего, однако, не добавив. Я взглянул на него; над его белым жилетом -- пиджак он скинул -- лицо блестело, красное как рак. Свой рот, по углам которого росли черные щетинистые усы, он приоткрыл от напряжения. Я догадался, что настало время предложить ему сесть на осла. Как только он устроился на нем, я обратился к нему с вопросом:

-- Скажите мне, почему князь несет заботу о поддержании ча[пробел]и?

[пробел] отрицательно покачал пальцем.

[пробел]т, -- с трудом произнес он, и потом прибавил, уже немного свободнее:

-- Тут мой дорогой, существует легенда.

-- Ах, что вы! Легенда?

-- Да, и такая, что подобную вы навряд ли встретите в новых произведениях. Десять лет тому назад я ее рассказал одному немецкому ученому, собиравшемуся написать большой труд о наших древностях. Прошлым летом он опять был здесь, он окончил основные исследования и хотел еще раз узнать все частности.

-- От него мы, стало быть, легенду не так- то скоро услышим. Не расскажете ли вы мне ее?

-- Я вам ее расскажу, и именно так, как ее нужно рассказывать.

Предстоящий рассказ готовил ему нескрываемое удовольствие, он сделался совсем подвижным на спине своего осла. Бывший ученик искусства красноречия в старом папском университете, проснулся в нем. Он рассказывал легенду так, как это требовали ее место и характер, и тем голосом, каким говорят ее, сидя на пороге своих дымных жилищ, женщины своим детям, чтобы они смирно держали голову и дали бы ее очистить от насекомых.

Легенда

Тот, кто первый выстроил *замок*, жил в нем со своей юной супругой, которая была бела и стройна. Она походила на ангела Божьего, но были у ней горящие губы. Беатриче росла целомудренной, набожной девушкой и лишь необузданного барона Гвидо была вина, что жили они в единении плоти, как не надлежало христианским супругам. Не был ли супруг ее всем, чем обладала бедная женщина в этом мире? То была пустынная, мрачная страна и редко туда заходили певцы. Впереди темная Кампания простиралась до самого синего моря, позади -- черные леса, полные диких зверей и оврагов. Затем выбрал Гвидо жилищем своим этот голый утес, где с древних времен росли лишь смоковницы -- многие от старости уже погибали, -- что не было у него страсти сильнее, чем охоты. Как храбрый римский барон, жил он с папой в раздоре, по временам спускался он вниз подстеречь проезжавших купцов, что в Рим чрез Кампанию направлялись с товаром. Зоркий глаз его их примечал, скрытых в тени акведуков, и он брал у них все, что доставило б радость супруге.

Но начал святой отец сзывать поход на неверных и забыли бароны вражду, и все поднялись на призыв, среди них был и Гвидо. В свою последнюю ночь, он прощальным лобзаньем целовал Беатриче ее белые груди -- он любил их больше всего. *Mie pesche* он их называл, *мои персики*. Он целовал их и молвил:

-- Да поможет Господь после палящей жары в дальних пределах неверных, невредимым обратно вернуться и припасть к вашим спелым плодам. Затем, под звуки рогов, чрез Кампанию поехал он к морю.

Не плакала его супруга, но девять недель не покидала окна своей спальни, откуда были видны переливы синего моря. Когда ж она вышла оттуда, ещё

белее стало лицо и губы сочились кровью; казалось, -- их капли стекают на белое платье. И когда исполнился год, как был барон Гвидо в походе, она всегда об одном возносила Богу молитвы, -- да вернется скорее домой супруг от гроба Господня. Большим то было грехом, что любила святую веру она меньше своих грешных желаний. Не могла успокоиться кровь, что зажег в ней супруг, и так как прошло уж два года, то гнала ее ее кровь на волю из замка. В страхе бежали крестьяне, когда прохладным вечером, среди темных полей мелькало белое платье, как вещь страшная птица из сказки. И крестились они, когда вдруг из-за груды развалин она являлась пред ними и казалась им искушением дьявола, из гробов восставшим неверных, с прядями черных волос и горящими ярко губами.

Устало небо от ее грешных молитв, и явился к ней ночью строгий молчащий ангел, в руке его был пергамент, с четырьмя рядами на нем огненных букв. И на пергаменте была смоковница, озаренная светом. Беатриче, прочтя, испугалась смертельно, но на утро забыла слова, и только выйдя во двор, где в камнях у портала росла сухая смоковница, вспомнила она ее и слова, прочтенные ночью: скорее новые плоды принесет сухая смоковница. И поняла, что не держать ей больше супруга в объятьях.

С того дня стала ходить она медленней и на склоненных ресницах висели горькие слезы. Вновь приветствовать ее стал народ и благочестивый монах объявил, что сошла к ней Божия милость.

Но однажды из сундука извлекла Беатриче тонкий кинжал с нарезной рукоятью; у проезжего в Рим купца как-то раз раздобыл его Гвидо. Он немного заржавел, и его она дала наточить паломнику, которого у себя приютила. Когда он вернул ей кинжал остро наточенным и ярко блестящим, взяв его, она в тихий полуденный час пошла к portalу и так сказала смоковнице: радостно я умру, чтоб ты вновь получила плоды и чтоб мой супруг возвратился. Его жизнь мне дороже моей. Я могу тебе дать только два моих белых персика, но я верю в Божию милость. И быстро открыв свое платье, она блестящим ножом, отрезала свои белые груди. Она упала на ветви сухие и ее стекавшая кровь к старым корням смоковницы проникла сквозь трещины камня.

Через год возвратившись домой, -- не желанное супружеское ложе нашел барон Гвидо, -- а лишь запертый замок. Но узнал он Божию милость, повелевшую жертву супруге, так как сухая смоковница доверху оделась плодами. Гвидо построил, и на вечные времена велел содержать часовню, а в годовщину смерти супруги, служить поминальную мессу. Как уверял меня дон Агостино Сальвини, эту мессу перестали служить каждый год в день святого Каликста, не более двухсот лет назад. Вот почему и теперь часовня содержится лучше, чем остальные развалины.

* * *

Я ограничился тем, что кратко выразил кавальере свою признательность, не касаясь выслушанного рассказа. Так как с одной стороны, меня порадовала та человеческая странность, что на расстоянии нескольких часов езды от одного из центров европейской культуры, живет народ,

пребывающий еще в детской нетронутости, о чем свидетельствует подобная, до сих пор живущая в нем, легенда. Но в таком случае, в людском невежестве и в связанных с ним неразрывно суеверии и фанатизме, которым легко пользоваться для враждебных культуре целей, есть что-то и отталкивающее и приводящее в смущение.

Мы молчали и пыхтели, я -- от трудности ходьбы, мой друг -- от трудности разговора. Он оказался тем более любезным, предоставив мне осла.

Дорога, как раз, описывала свой последний изгиб перед городом. Отсюда, из за угла утеса, он казался декорацией к прекрасной картине. Вечерняя заря, начинавшая покрывать небо, здесь была особенно *глубока*. Из серовато-желтых и фиолетовых чернил, окрашивавших возвышавшуюся в пространство со склона горы черную городскую стену, несколько фронтонов и четырёхугольный Campanile, -- вытекала красная мутная краска, которая двигалась волнами, точно грозила все покрыть собою и затопить из неведомых глубин горную дорогу. Из городских ворот как раз развertyвалась процессия. В конце ее, где мелькали одежды монахов, раздавался шепот литаний. Впереди шли белые фигуры, на одежды которых ложились красные блики заката. Одна из них несла серебряный крест, держа его так высоко, что он, казалось, сам плыл по розоватому воздуху. Он блестел, в без-численных углах преломляя лучи и медленно колебался из стороны в сторону; казалось будто он хочет сойти из какого то другого мира, -- как сходит мистический знак на склонённые головы молящихся. Я существо впечатлительное, и в эту минуту, сознаюсь, был настроен почти клерикально.

Мы прижались к утесу, чтобы пропустить процессию. Это были молоденькие конфирмантки; на лицах их лежало то трогательное умиление, в котором в последний раз к великому празднику духа, собирается вся дремлющая доброта и простодушная доверчивость детской души. Короткий праздник, а из за него уже выглядывает длинный ряд серых будней. За исключением двух -- трех, которым я, лучше, ничего не буду пророчить, будут они хорошими матерями семейств, -- сказал я себе.

Затем шли монахи, молодые францисканцы с венками на головах, старые капучины с длинными бородами и, наконец, одинокая женская фигура, немного поодаль от шедшего позади народа.

Эта женщина больше чем другие, приковывала к себе внимание. Она была в одежде сестер-наставниц, окружавших тесным кольцом толпу молодых девушек, но бедней их одета, -- очевидно послушница. Она несла свое худое, но высокое и крепкое тело, узко затянутое в грубое, голубого цвета бархатное платье, с таким характерным величием, точно ноги ее выступали не в широких крестьянских башмаках, а на высоких каблуках римских дам. Подбородок сильно выдавался вперед, глаза, большие и черные, безучастно глядели поверх голов в пространство. Широкое лицо, с дряблой желтой кожей, было очерчено резко, но не вульгарно; рот выражал столько непосредственной сильной страстности, что меня поразила мысль, о чем могут молиться эти открытые дрожащие губы? В эту минуту я

заметил главную причину того странно трагического впечатления, которое она производила. Одна из прядей ее седых волос, выбивавшихся из-под громадного белого чепца, свесилась ей на глаза, и она движением головы отбросила ее назад. При этом я заметил, что у нее на левой стороне лица застыло какое то своеобразное выражение, вследствие одностороннего паралича лицевого нерва. Лицо Дузе скрывает в себе ту же, простую загадку, но мы охотно даем себя обмануть. Способность к воображению бывает у людей изумительна. Какой-нибудь мускул не действует, или действует плохо, -- и мы начинаем подозревать величие духа.

Когда мы снова пустились в путь, я спросил кавальере Хризостомо:

-- Что это была за женщина, эта высокая старуха?

Он остановился, сделал необходимые приготовления, чтобы говорить, и ответил:

-- Э, несчастная помешанная.

Мой осел, почуявший близость стойла, позволил себе прибавить шаг. Кроме того, оставшаяся часть дороги шла круто в гору, и было бы крайне жестоко вынуждать моего запыхавшегося спутника к дальнейшим объяснениям. У ворот мы оставили осла, и с наслаждением пошли в сыром, погребном воздухе маленькой улочки, куда никогда не заглядывает солнце. Наконец, мы достигли коммунальной площади, на которую уже пала вечерняя тень.

Перед кафе синьора Пьерлуиджи мы встретили нескольких мужчин, с которыми я уже утром завел знакомство. Доктор Пио Витулли любезно обратился ко мне:

-- Рюмочку абсента перед едой?

Я не расположен к вредным напиткам, а потому попросил себе вермута. Внутри кафе я сквозь грязные стекла ничего, кроме мух, не заметил. Мы остались сидеть снаружи и поставили ноги на высокие поперечные перекладыны стола; так мы были более или менее защищены от блох, населявших мостовую площади. Рядом со мной, спиной к стене, почтмейстер пил свою травяную настойку. Его подбородок с прекрасной бородой уже довольно низко свисал к нему на грудь, и он добросовестно старался до конца выщипать через отверстие в своем кресле, оставшуюся там мочалу. Я заметил ему:

-- Вы наносите ущерб синьору Пьерлуиджи.

Он выказал внезапные признаки возбуждения, и взял все общество в свидетели того, что последний банковский крах -- из всех самый скандальный.

-- Где тогда было правительство? -- крикнул он.

Сидевший против него аптекарь, маленький желтый человечек, тотчас же принялся жестикулировать. Я, лично, держался того мнения, что правительство где-нибудь да было, а потому опять обратился с вопросом к кавальере Хризостомо:

-- Вы хотели сообщить мне, кто была эта женщина, на которую я обратил внимание в про-цессии?

Знаменитый юрист оскалил свои редкие зубы, пытаясь изобразить на своем лице тонкое понимание. Он подтолкнул доктора:

-- Наш друг -- большой знаток. -- Он заинтересовался княгиней.

-- Кем? -- воскликнул я, -- княгиней?

-- Ее называют княгиней, -- объяснил мне любезный доктор, -- потому, что она, в свое время -- но этому уже лет сорок, (подчеркнул он выразительно) -- была возлюбленной нашего князя Чезаре.

В моем уме снова промелькнули мои недавние размышления, и я спросил себя, не зазвучит ли тут опять фамильный тон Тордизассо.

-- И возлюбленной кардинала она тоже была, -- прибавил доктор, благодушно взглянув на аптекаря.

Тот состроил испуганное лицо, а кавалере Хризостомо зашептал мне:

-- Этого кардинала и до сей поры клерикалы коммуны, бывшей в свое время его приходом, почитают одним из своих святых. Аптекарь, синьор Аристид, собственно говоря, патриот, но вследствие женитьбы на племяннице викария собора Сан-Агостино, принужден уклоняться от участия в выборах.

-- Кто много возлюбил, тому многое простится, -- произнес, вскакивая, аптекарь, впрочем не особенно убежденно.

Почтмейстер пришел ему на помощь и стал высмеивать доктора:

-- А где были вы, мой бедный друг, когда в прошлом году министр оказал честь коммуне тем, что позволил перенести избирательный округ в Монтечиторио?

-- Э, -- произнес кавалере над самым моим ухом, пока почтмейстер предавался шумному проявлению веселости.

-- Э, наш доктор не менее либерально настроен, чем мы с вами, и к тому же ему надо опасаться, как бы его конкурент, доктор Фетуччи не был раньше его назначен commendatore в Борго Сансестре. Но он скорее испортит отношения с министром, чем рискнет утратить расположение дон-Агостино, из-за клиентов, -- вы понимаете?

Я это отлично понимал, так как централизованные силы государства все еще продолжают наталкиваться на темные махинации, устраиваемые в провинциальных сакристиях, -- а потому предпочел не касаться этой печальной главы.

-- Итак, ее называют княгиней? -- спросил я вторично.

Доктор Витулли поспешил воспользоваться переменной разговора.

-- Но без всякого враждебного намерения. Ей бы не дали этого прозвища, если бы бедная женщина сама не слышала его охотно. Старая Мария пользуется всеобщими симпатиями. Когда мы будем ее хоронить, вся коммуна пойдет за ее гробом.

-- А! -- воскликнул я, -- это как в San Gregorio Magno, во времена великого Юлия II на одном надгробном камне написали почетное название: Cortigiana Romana!

-- Ах! -- начал мечтать доктор, бывший в своей молодости несколько лет ассистентом в госпитале Санто Спирито, -- ах, куртизанка римских преданий! Ее оценили лишь, когда она уже вымерла.

-- Как и всякую красоту минувших дней. Это поэтическое замечание вставил кавальере. Доктор Витулли продолжал:

-- Я, правда, не принадлежу к оставшемуся от того времени поколению, но все-же я видел двух-трех действительно гордых женщин, которые из самых низов настоящего римского народа, лишь вследствие страстного побуждения какого-нибудь патриция, внезапно оказывались поднятыми до роскошной кареты, в которой они, на корсо, разъезжали мимо герцогинь, а иногда и рядом с теми.

Предмет разговора сильно занимал меня и я выказал перед доктором сходный с ним образ мыслей:

-- И что, взамен того, **стоят** интернациональные кокотки, которые насквозь пропитали собой светскую жизнь теперешнего Рима! Уродливые плоские англичанки, с их цветом лица точно белила; коренастые венки с глупыми глазами. (В лучшем случае, родители этих обеих категорий женщин, происходят из Венеции, где, благодаря хозяйничанью чужих, местный тип совершенно выродился.) И потом маленькие, подвижные и подозрительные парижанки, которые умеют только ввести в моду какой-нибудь новый фасон шляпы!

-- Эти, по крайней мере, опасны.

Доктор провел рукой по своим седым усам и с состраданием взглянул на сына купца, местного щеголя.

-- Видно, что вы, никогда не тратились на целые горы кружев. Обаяние этих женщин, если оно у них только есть, -- так же назойливо и неестественно, как медно-красный цвет волос, который они теперь носят. Их темперамент проистекает от расстроенного желудка, от испорченных легких или главным образом, от ненормально действующей половой сферы.

Я дополнил мысли доктора:

-- Раса! Раса есть единственно верная добродетель женщины. Какой любовью любили эти настоящие римлянки из Рима, которыми пренебрегают современные неврастеники, склонные ко всякой мерзости! Их любовь была сильна и мужественна, как изгиб их бровей, как шлем черных волос, осенявших узкий лоб, как тяжелые выпуклости их груди! Их любовь была завлекательна и нежна, как их золотистая кожа, как их легкое покачивание на ходу, которое не было милой слабостью, но происходило от ширины их бедер, покоившихся на сильных, крепких ногах. И всегда была она проста, любовь этих женщин, чуждая отвратительных хитростей и неприятностей, -- с одной только оговоркой, - что в один прекрасный день вы могли совсем внезапно дожидаться от них физического или морального удара кинжалом.

-- Пресной была эта любовь! -- заметил сын купца.

Доктор и я, мы не обратили внимания на это замечание. Мы были слишком довольны, сойдясь мыслями в такой важной области. Он облокотился на стол и сказал:

-- В ваших словах, как раз, заключается подробное описание Мариэтты Павончелли, какой она была в свои лучшие дни.

Я сам был еще наполовину ребенком, когда ее впервые увидел, и присутствовал только при сцене, где странная судьба Мариэтты достигла своей высшей точки. Но мой учитель и друг, профессор Карфольо, который тогда уже пользовался доверием среди папской аристократии, передал мне все дальнейшее.

Кавальере шепнул мне на ухо:

-- Подбодрите его! Всякий раз, рассказывая об этом, он прибавляет новые подробности.

-- Ах! -- только сказал я.

-- Не ждите от меня исторической точности. Катастрофы, которые происходили в дворцах патрициев или даже правящего духовенства, как бы патриархально ни было правление, -- всегда казались происходящими в другом, недоступном мире. Чем горячее народ принимал участие, -- за отсутствием иных общественных интересов -- в делах своих господ, тем сильнее все облекалось в легенду. Голые факты скоро становятся известными, правдивы ли они, или ложны.

Мариэтте едва исполнилось восемнадцать лет, когда она снискала расположение его преосвященства кардинала Тордизассо. Она явилась к нему не прямо из материнских объятий, а имела за собой уже несколько незначительных приключений, -- но в большой мир, мир знатоков и ценителей ее действительно, впервые ввел кардинал.

Теперь уже, наверно, навсегда замолкли залы черного дворца Тордизассо, у рипеттской гавани, с их висячим садом пальм и фонтаном, бьющим среди балкона над поросшим мхом порталом. Никогда уже не увидят решетчатые окна таких празднеств, какие тогда давались. Кардинал был последним из патрициев, которому средства позволяли содержать штат, приличествующий достоинству римского князя. Совсем, как во времена величия, его замок был полон целым войском клиентов, служащих дворян, художников и женщин. Сам его преосвященство являлся олицетворением семейных преданий. Он имел узкий, тонкий и, несмотря на его возраст, лишенный морщин, рот Тордизассо, и носил под самым носом маленькие усы, а на энергичном двойном подбородке короткую, острую, седоватую бородку, -- совсем как у своего предка, кардинала Туллио, который триста лет назад был посвящен в все государственные тайны Сикста Пятого.

Конечно, добрые нравы должны были быть соблюдены, и Мариэтта официально считалась возлюбленной двадцатипятилетнего князя Чезаре, жившего у своего дяди. Это было неосторожно, так как к гордому старому кардиналу девушка испытывала лишь, самое большее, благодарность. Она была уже в полном расцвете, а князь Чезаре был стройный, белокурый юноша, немного болезненный, так что нельзя было думать что он доживет до глубокой старости. Он обожал ее за то, что она была олицетворением здоровья и силы; она любила в нем его юношескую грацию и его благородную кровь. Я убежден, что подобная любовь создана на то, чтобы длиться всю жизнь. Если один из них заболевает, то другой, не зная об этом, ждет смерти и не может раньше того умереть. Впрочем, римские

женщины того времени всегда любили только однажды в жизни, -- не считая, конечно, трагических побочных случаев.

Кардинал обладал недостатком, в его положении особенно тяжким: он был ревнив. Его ревность не была коварной, подозрительной ревностью старика, но отличалась необузданной силой. Под влиянием страсти, его лицо становилось таким грозным и ужасным, что многочисленные шпионы, которые должны были предупреждать влюбленных, при его появлении разбегались во все стороны, и он без труда накрывал своего племянника в обществе Мариэтты. Про объяснения между стариком и юношей, легенда тоже молчит. Известно одно: о лишении князя его наследства никогда не было и речи. Это угроза мещан; не имение какого-нибудь патриция принадлежит ему а, напротив, он принадлежит имению.

При всем том, князь Чезаре тратил на Мариэтту больше, чем он располагал. Заметив это, она продала все подаренные им драгоценности, а вырученные деньги вернула ему окольными путями, через его казначея.

-- Это, собственно говоря, нельзя назвать благородством, -- позволил я себе прервать доктора -- она этим только доказала, к какой породе женщин она принадлежит. Безусловно ни одна женщина не следит так за привычками и направлением тех мужчин, с которыми имеет дело, как куртизанка. Теперешние кокетки, особенно высшего полета, находятся в зависимости от мошенников, или скажем лучше, -- от опытных деловых людей, и потому обратились в простых торговков. Добровольно отказаться от чего-нибудь из того, что они выманили и выпросили у мужчин, показалось бы им таким же бессмысленным, как для возлюбленной того вельможи -- выбросить, если явилось такое желание, из окна свои драгоценности, полученные ею, как должное.

-- Ваше предположение, -- сказал доктор Витулли, -- подтвердится буква в букву, в моем дальнейшем рассказе.

Кардинал, при одном, особенно поразившем его происшествии, потерял всякое благоразумие. Хотя стояла весна и люди стали только съезжаться в замок, он отправил своего племянника сюда, в Рокка-де-Фики; а сам выразил твердое решение перенести на лето свое местопребывание в принадлежащий ему за морем замок, в Неттуно. Мариэтта должна была поехать туда. Его строгих приказаний никто не осмеливался ослушаться. На следующий день, он думал, что его повеление исполнено.

Он возвращался с прощальной аудиенции в Ватикане, и ехал в своей карете по площади св. Петра, как вдруг из колоннады Порты Анджелика показалась другая карета, ехавшая ему навстречу. Кареты поравнялись, и кардинал увидел Мариэтту Павончелли, а рядом с ней, в тени, как ему показалось, своего племянника. Он высунулся из окна, чтобы отдать приказание сопровождавшим его верховым, и лицо его не обещало ничего доброго. Но тут что то, пролетев около его лица, упало в карету. Он увидел, как Мариэтта королевским движением, которое он любил всем своим пылким сердцем, подняла руку ко лбу, и вслед за тем брильянтовая диадема полетела к нему из ее окна. За ней последовали кольца и браслеты, которые она срывала с рук, крест с ее груди, пряжки ее сапог, наконец, с звоном и

треском, -- шкатулка, стоявшая перед ней на сидении. Кардинал сидел, бессильно откинувшись в подушки, среди царских драгоценностей, блеск которых в темноте кареты. Кучер галопом погнал лошадей. Собралась толпа удивленного народа. Мой знаменитый друг профессор Карфольо уверял меня, что много лет спустя, нищие на площади Петра рассказывали еще об этой битве бриллиантов.

До самого вечера кардинал никому не показывался. Допустив к себе нескольких лиц, которым он доверял, он обнаружил затем кипучую деятельность. Часть его людей, которых его преосвященство сам выбрал, вооружили, из кабаков, с караульных постов собрали сбирров которым кардинал сам дал инструкции. Многие из них тотчас же отправились в путь. Когда наступила ночь, засидевшиеся посетители кафе видели красную карету кардинала, во весь опор мчавшуюся, при свете факелов, в сопровождении вооруженных, по направлению к Латерану. Двое любопытных, с трудом спасшихся от сбирров, заметили, что поезд пронесся через ворота Сан-Джованни, в Кампанию.

-- Невероятно! -- воскликнул я. -- Подобная экспедиция при помощи полицейских! состоящих на службе у, правительства!

-- Мой отец, -- продолжал доктор, -- был в то время управляющим виллой Рокка-де-Фики. Он до своей смерти сохранил доверие князя, и я был бы теперь, среди тишины тенистых парков, его преемником, если бы не предпочел кропотливый труд, который теперь не приносит мне ничего, кроме бесконечного таскания, в старой колыхающейся из одного горного захолустья в другое. Мне было тогда пятнадцать лет и спал я в маленьком мезонине, помещавшемся в громадной башне над воротами парка. В ту ночь я проснулся от неясного шума и увидел массу двигавшихся огней, бросавших кровавые тени на стены моей комнаты. Я бросился к окну, но осторожно отступил назад, увидев подозрительные лица сбирров. Кавалькада скрылась за углом. Наскоро накинув на себя платье, я прокрался за боскет и спрятался против дома. Короткая сцена, которую я оттуда увидел, ясно запечатлелась в моей памяти.

Кардинал Тордизассо далеко выгнулся из кареты и, казалось, отдавал одному из стоящих перед ним людей приказания. Тот поднялся на крыльцо. Боковые двери, находящиеся в обоих широких флигелях замка, спрятаны и часть дороги за ними лежит через подземелье; возможно, что тогда один только отец знал об их существовании. Главный же вход помещается над крыльцом, на высоте, приблизительно, пол-этажа, в глубине широкой веранды. Обыкновенно, снизу была видна вся стеклянная галерея, но теперь вход оказался заперт крепкими воротными створами, на которые я утром не обратил внимания. Приезд молодого князя и его возлюбленной был моим отцом тщательно скрыт от двора.

Человек, которому кардинал отдавал приказания, несколько раз постучался ручкой пистолета в дверь, ответившую в внезапно наступившей тишине, громким эхо. Ответа не последовало. Кучка людей, желая выказать перед кардиналом свое усердие, тоже полезла на крыльцо. Тогда из бойниц, расположенных в стене над самым входом, высунулись

несколько ружейных дул. Передние сбирры испуганно поспешили прижаться к стенам.

Как только кардинал заметил происшедшее, он выпрыгнул из кареты; я никогда потом не видел, чтобы человек так трепетал от гнева, -- каждым членом своего тела, каждым мускулом лица!

-- Мы посмотрим, будут ли они стрелять, -- крикнул он сдавленным голосом, -- но я остерегаю вас, если дверь не будет сломана!

Он не стал дожидаться, пока дверь уступит под ударами бревен и железных балок, которые несколько человек направляли в ее крепкие доски, он указал на лавровый кустарник, наполнявший глубокие ниши в круглой лестнице и, топая ногами от страстного нетерпения, приказал поджечь дверь.

В то же мгновение прекрасные кусты были вырваны, но не успели еще слуги сложить стер, как дверь открылась. Мариэтта Павончелли одна показалась на балконе и медленно подошла к перилам. На ней было белое, спадавшее волнистыми складками платье, и груди ее блестели при ярком, колеблющемся свете. Зеркальная галерея, позади нее, была неосвещенно, но в темноте плясали блуждающие там отражения факелов. На этом огненном фоне выступало ее величественное, почти грозное лицо. Она сделала легкое, повелительное движение рукой, как бы указывая на кардинала. Я наблюдал за ней из своей засады почти со страхом, так ужасна была ее красота, и до того ее жесты, казались жестами какого-нибудь королевского судьи. Впечатление, которое произвела она на мое полуразвитое сознание так велико, что я никогда не смогу представить себе ненарушимого рокового приговора иначе, как с такими жестами; и невольно пытаюсь их воспроизвести, когда нахожусь у постели умирающего.

Она сказала просто, не особенно громким голосом:

-- Давно ли стали князья церкви заниматься разбоем, и с каких пор старики учиняют мальчишеские покушения?

В наступившей тишине, люди стояли словно окаменелые. Сам кардинал не двигался. Он показался мне почти другим человеком. На красном шелку его одежды, раньше блестевшем в свете факелов, теперь легли глубокие черные складки -- так он согнул стан. Лицо его, раньше красное от гнева, теперь казалось мертвенной маской. Он не спускал остановившегося взгляда с лица женщины, ставшей из-за своей красоты для него, действительно, Медузой. Бедный кардинал! При иных обстоятельствах он сумел показать, что может заставить особу, которую он хотел покорить, пойти за ним, не взирая ни на что. Если он этого на сей раз не сделал, то может быть это доказывает, что этот старый, страстный человек любил Мариэтту сильнее, чем кто-нибудь другой. Но все это так и кончилось; старая Мария бродит в тихом помешательстве, охватившем ее в обществе другого.

-- А кардинал вернулся, так ничего и не добившись? -- воскликнул я, почти с состраданием.

-- Он не сказал ни слова, -- ответил доктор -- сел в карету и возвратился той же дорогой. Я прокрался к воротам и оттуда видел, как красная карета, среди массы кровавых огней, вскачь неслась по Кампанье. Все происшествие заняло едва пятнадцать минут. Когда я проснулся на следующее утро, все это казалось мне фантастическим сном.

Конец мне известен только по слухам, да и никто не может о нем много сказать. Кардинал по целым дням не покидал своей комнаты; передают, будто он бился головой об стену. Тем кто, видели его потом, он казался совсем сломленным. Верно только то, что кроме официальных приемов, у него никогда больше не бывало празднеств, и что дворец в рипеттской гавани уже тогда подвергался опустошению. Впрочем кардинал не на долго пережил свое позорное поражение. Перед своей смертью, наступившей спустя полгода после этих событий, он, будто бы, излил свое горе и страсть в звучных латинских стихах. Те, которые якобы их видели, утверждают, что они в высшей степени неприличны.

-- Все это болтовня, -- заявил аптекарь.

Доктор кончил рассказывать, и мы некоторое время сидели в молчании. Почтмейстер заснул в своем кресле, кавалере Хризостомо выпускал легкие стоны -- он не мог перенести второго стакана абсента, который он спросил себе во время длинного рассказа доктора.

Что до меня самого, то я не мог не отнестись весьма неодобрительно к цинизму и грубому вожделению, которыми дышат рассказанная события, а также не пожалеть, что нашей цивилизации удалось так поздно искоренить первобытно грубый и в то же время, испорченный дух, который, при продолжительности своего существования, мог бы расстроить основания общественного порядка. С другой стороны, я чувствую некоторое влечение к подобным диким странностям; рассматривая мирное общество, клевавшее носом за своими стаканами, и стал раздумывать о кардинале, бившемся головой об стены от неудовлетворенной страсти. Подобные истории рассказываются еще до сих пор в таком обществе, перед грязным кафе, на коммунальной площади какого-нибудь заброшенного горного городка, а в это время в поильном корыте, выдолбленном на подобие саркофага, журчит вода, блестящая в тени соборного портала, как серебро, и месяц часа на два, добела оmyвает лавинные плиты мостовой.

* * *

-- Это был кардинал Тордизассо. Ну, а князь Чезаре?

Так как на лице доктора Витулли отразилось затруднение, то кавалере взялся ответить за него.

-- Князь имеет за собой драму, подобно своему дяде и большинству из членов его семейства. Только катастрофа разразилась не при такой трагической страсти, как у старого кардинала. У него это скорее вылилось в особый, теперь модный, вид помешательства.

Кавалере, очевидно, испугался, не сказал ли он что-нибудь лишнее, так как сейчас же поспешил ограничить сказанное:

-- Впрочем, у его сиятельства светлый ум, ясный и решительный во всех делах, которые мы с ним обсуждаем.

-- Дело, стало быть, лежит в психическом расстройстве? -- спросил я, очень заинтересованный.

-- Э, -- произнес кавалере.

Доктор, поднявшись, вкратце объяснил мне.

-- У него должно быть нечто вроде психического перенесения зрительных представлений, которое благодаря потере способности к смене их, привело к непрерывному обману чувств. Так утверждает знаменитый Карфольо. Сам я не берусь судить об этом, так как у своих крестьян я не встречал никогда ничего подобного.

Он взглянул на часы и воскликнул:

-- Скоро десять и моя жена мне сделает сцену.

-- Да, пора идти ужинать, -- согласились и остальные и общество, попрощавшись, разошлось.

Я медленно шел с кавалере по площади. Когда мы собирались подниматься на ступени горной улочки, он остановился и сказал:

-- Вы столько наших историй узнали, что вам можно безбоязненно рассказать и остальное. Всему этому, правда, уже немало лет, но ведь князь еще жив, -- и мы не со всяким так об этом болтаем.

Я поблагодарил за оказанное мне доверие и, пока мы, охая и останавливаясь, достигли его гостеприимного дома, он облегчил свою душу рассказом о конце всей этой истории.

-- Князь Чезаре остался с Марией Павончелли в замке Рокка-де-Фика. Однако же это не было идиллией влюбленных, прячущих свое счастье в сельской тиши. Это, как выразился бы доктор Витулли, мещанский вкус. Ни он, ни она не хотели отказаться от придворного штата и, когда шесть месяцев спустя, все фамильное состояние по смерти кардинала перешло к молодому князю, число гостей, приживалов и добровольных шутов еще увеличилось. Маскарады, балы и праздники, которые были видны из-за решетки ворот, до сих пор еще живы в памяти наших старых женщин. Многие из этих праздников были задуманы и выполнены молодым художником, по имени Гальбони, обладавшим, будто бы, всеми талантами. Он погиб после бурно проведенной жизни, как это часто случается с господами художниками. Князь помешался на том, чтобы Гальбони рисовал его возлюбленную во всех мыслимых положениях и костюмах, и запечатлел ее образ в мраморе, серебре и слоновой кости. Парк и замок переполнены этими произведениями.

После года такой жизни, любовь князя и Мариэтты, казалось, стала еще сильнее. Может быть доктор с своей философией и прав, говоря, что Мариэтта только дожидалась смерти своего возлюбленного, и раньше никак не могла бы уйти от него. Если же она его все-таки покинула, -- то должна была рано или поздно вернуться к нему. Но князь был тогда, как уже сказано, довольно болезненным, а она была рослой, крепкой девушкой. Дать князю на короткое время отдых от себя, и пойти за сильным, здоровым человеком, -- было с ее стороны даже не изменой любви, а скорее

уступкой своему темпераменту, и ни один вдумчивый наблюдатель за это ее не осудит.

Кавальере остановился и торжествующе посмотрел на меня.

-- В одну прекрасную ночь, -- продолжал он, -- она убежала с Гальбони. И тут-то лежит катастрофа, от которой пострадала в сущности одна бедная Мариэтта. Потому что когда она шесть недель спустя вернулась, как это можно было предвидеть, к князю, -- он ее больше не узнавал.

-- Как? -- переспросил я, думая, что ослышался.

-- Он ее больше не узнавал, -- повторил он с таинственной улыбкой и пожал плечами.

-- Сегодня я вам этого объяснить не могу, мой дорогой. Вы бы не поверили, не видав всего собственными глазами. Хотите завтра утром совершить со мной прогулку в княжескую виллу?

Я согласился и, уже стоя у самых дверей дома, я предложил кавальере еще вопрос:

-- Отсюда и произошло все несчастье Марии Павончелли?

-- Да. Когда она поняла, что навсегда потеряла князя -- так как не имела власти над тем состоянием, в которое он из-за нее впал, -- она бросилась в воду. Кстати, сделала она это с той горной дороги, где мы ее сегодня встретили. Один монах спас ее и принес к сестрам наставницам. Под отвратительной одеждой этих благочестивых женщин, ее красота скоро увяла. Она стала немного странной, но ее мании очень невинны и безвредны, и она, сколько может, делает добро.

Хозяйка дома уже давно нас поджидала с ужином.

Когда ранним утром мы спустились из города на дорогу, ведущую к входу в виллу, кавальере заметил:

-- Не нужно чтобы нас видели. Меня и другие деловые визиты он принимает только после обеда. Утром он не любит, чтобы ему мешали в его безумии.

Аллея кипарисов привела нас к воротам виллы, которые кавальере фамильярно открыл передо мною; затем мы должны были обогнуть дом. Лицевой стороной замок обращен к откосу горы, по которому тянется парк до самого города. Против крыльца, среди боскетов помещается самый большой фонтан виллы, в прекрасном устройстве и во всей роскошной театральности, которого, видны замыслы Бернини. Рыбаки, пастухи и всякие фантастические фигуры кидают в вышину целые потоки воды; в воде, стекающей каскадами, плавают испуганные девушки и хвостатые русалки, которых внизу, в громадном бассейне ждут сладострастные тритоны. Теперь вода уже скупно сбегает вниз, зеленый мокрый камень во многих местах поврежден, и громадные высеченные из камня гербы Тордизассо -- круглая башня на краю утеса -- дали трещины.

По идущей рядом с каскадами дорожке, мы поднялись на первую из широких террас, на которые изумительно симметрично разделен парк. Эту террасу пререзывает крытая аллея, искусно образованная из срастающихся и ровно подстриженных верхушек пышных ильм. У входа стоит маленький круглый храм, поддерживаемый изящными колоннами, из которых

некоторые сломаны. За двести лет эта руина из искусственно воздвигнутой обратилась в настоящую.

Когда мы обогнули храм, я замедлил шаг, так как мне показалось, что женская фигура сходит по ступенькам. Она была в пестрой одежде албанок, белый платок грациозно лежал на ее черных волосах. В поднятой руке она держала пучок свежих цветов. Я смотрел на ее профиль и вдруг воскликнул, еще не совсем уверенный:

-- Мариэтта Павончелли!

-- Это произведение Гальбони, -- сказал кавалере.

Мы вступили в аллею. Среди боскетов, прикрывающих снизу стволы ильм, открывались ниши, с изваяниями в них. Мой спутник увлек меня в засаду за одну из статуй, и попросил немного обождать. Поле нашего зрения ограничивалось полукругом и кончалось каменной скамьей, которая издали показалась мне очень красиво украшенной. Я прервал свои наблюдения, так как из боковой аллеи вышел человек и направился к скамье.

-- Князь, -- шепнул мне кавалере на ухо.

Князь, отвесив учтивый поклон, опустился на скамью. Было похоже на то, что он начал вежливый разговор. Я немного высунулся из своей засады и мне показалось, что за листьями, скрывавшими другой конец скамьи, мелькало женское платье. В эту минуту князь поднялся; несколько раз поклонившись, он, казалось, взял чью-то руку и кому-то помог встать со скамьи. Но потом он совсем один пошел по аллее.

-- Дама не идет за ним? -- спросил я.

-- Она из камня, -- прошептал кавалере с сдержанной веселостью.

Князь приблизился к нашему убежищу. Это был немного худощавый старик в синем платье, в кокетливой кружевной рубашке. При разговоре он двигал своей тростью с золотым набалдашником, и то вопросительно, то утвердительно посматривал на правую сторону, и на его поблекшем, тонко очерченном лице блуждала немного жеманная улыбка.

Он прошел мимо нас, и прежде чем спуститься по лестнице дворца, остановился у круглого храма и с благодарностью и поклоном взял из рук албанки цветы. Мой спутник по скрытой дороге повел меня за князем.

Внизу мы остановились за боскетом, против крыльца, -- приблизительно там, откуда доктор Витулли, мальчиком, смотрел на неудачу кардинала.

Князь медленно поднялся по широкой лестнице; наверху его встретили два старых, с застывшими лицами, лакея, которые пошли перед ним и распахнули дверь в галерею. Вдруг князь отвесил глубокий поклон. Навстречу ему, из рамы гирлянд выступила высокая фигура женщины, в белом, падающем складками платье, с гордо поднятой головой.

-- Это лучшее из произведений Гальбони, -- сказал кавалере.

-- Такой она была, вероятно, в ту памятную ночь.

Дверь закрылась, и я внезапно потряс своего спутника за плечо, точно для того, чтобы услышать от него, что все это глупости.

-- И в угоду всем этим искусственным изображениям, князь отверг живую возлюбленную?

Кавальере вздохнул.

-- Что мне сказать вам? Пока она была с ним, он, в своем страстном желании везде иметь перед глазами образ любимой, -- не мог насытиться новыми и новыми ее изображениями. Может быть, уже тогда он перенес на эти произведения тот образ Мариэтты, который он создал в своей больной и влюбленной душе. В то время, как она его покинула, этот переход окончательно завершился, и когда она вернулась назад, он не знал уже оригинала, а знал только его копии.

Увидав недоверчивое выражение на моем лице, он прибавил:

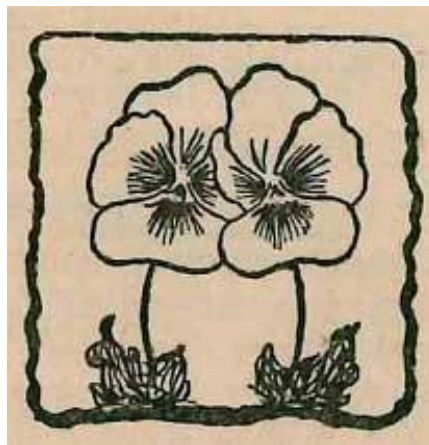
-- Конечно, все это пустые слова. Но больше об этом не знает и знаменитый Карфольо, на которого ссылается наш доктор.

-- Князю вовсе уж не так плохо приходится, -- сказал я задумчиво. -- Настоящая Мариэтта Павончелли теперь стара, он -- тоже. Все прекрасные чувства полетели бы к чёрту, если бы его помешательство не позволяло ему еще и теперь разыгрывать в своем чудесном саду молодого влюбленного.

-- Неправда ли? -- сказал кавальере и дружески хлопнул меня по животу.

-- Как хорошо живет помешанным!

Рим. Декабрь 1896



Источник текста: Полное собрание сочинений / Генрих Манн. Том 6: 1. Актриса; 2. Чудесное. Повесть. Новеллы / С критическим очерком Г. Бранденбурга. - Москва: "Современные проблемы", 1910. С. 248--286.